

П Е Р Е В О Д Ы

Ф.Мориак

СТРАДАНИЯ И СЧАСТЬЕ ХРИСТИАНИНА ж

пер.с франц. В.Антонова

"Есть ли большее удовольствие, чем отвращение к удовольствию?" Эту фразу Тертуллиана Паскаль комментирует в письме, написанном в декабре 1659 года, дабы напомнить м-ль де Роан, что христианин живет не в одной печали: "От удовольствия бегут ради иных, больших удовольствий". Этот янсенист не хочет, чтобы благочестие было для нас безутешным огорчением.

Но даже янсенист не одобрил бы моих заметок о Боссюэ, которые я напечатал под заглавием "Страдания христианина". Меня охватило некоторое угрызение, поскольку они затронули слишком много сердец и наряду с чрезмерными похвалами вызвали чрезмерные упреки. Одобряющие и порицающие признают, что в книге есть оттенок неподдельного горя. Мы всегда думаем, что горе — искренне. Но и горе может обманывать. Согласившись жить в раздвоении, раздвоенный человек нуждается в доводах, чтобы оправдаться перед собой в этом безрассудстве. Морис де Герен сравнивает свою мысль с небесным огнем, который горит на горизонте меж двух миров. Я включил этот образ в невидимое оружие, которое каждый создает для себя. В нем я с радостью увидел прекрасное выражение собственной судьбы и поплатился за испытанное колебание таким волнением, что, думаю, оно отвратило от меня гнев Того, Кого я дерзнул соотносить с миром.

Я гордился еще одним извинением — своим трудом, воплощением указанной раздвоенности. Удивительна судьба слов: в решении не выбирать меня укрепило слово "весть", которым столь охотно пользуется наше поколение. Я принес миру весть о богатом юноше, которого Христос полюбил с первого взгляда, но который "отошел с печалью, потому что у него было большое имение".

Мы думаем, что в наших особенностях нет ничего странного: своеобразие — это жизнь. Если наша точка зрения уникальна, хотя и несостоятельна, мы сильнее за нее цепляемся. Я сам дошел до такого ослепления, что пленился образом "небесного огня, который горит на горизонте меж двух миров"... Нет огня, который горит на одном расстоянии от Бога и мира: в сверхъестественном плане, не выбирать — уже выбор. У меня возникло ясное ощущение, что надо любой ценой отстоять себя перед Богом, собой и другими людьми.

В "Страданиях христианина" некоторая тревога казалась искренней. Но, как я сказал, горе может обманывать, — хотя я сознательно к этому не стремился, тайный янсенизм этих страниц дал мне возможность жонглировать небесным огнем, который влекут вершины и бездна, и который, питаясь земной пищей, все же устремлен

к сверхъестественному... Янсенизму вообще свойственно в Божественных предметах злоупотреблять человеческой логикой. С католической вершины хорошо виден обрывистый склон — ригоризм, который в глазах света приносит нам лестная позиция непримиримых. Сгустить тени я стремился только ради тропинок, которые проложила милостивая благодать, и ради священных пристанищ для насыщения и отдохновения души. Я не отвергал истину, но отрицал ее общедоступность. Например, "Страдания христианина" свидетельствуют о моем упорном желании восстановить дух на плоть, ибо я утверждал, что они — враги и не могут существовать, не уничтожая друг друга.

Жестокое легкомыслие человека, который ищет слова о вечной жизни и манипулирует ими в соответствии со своей страстью вместо того, чтобы привести их в согласие с собственной жизнью.

Творца жизни человек обвинил в том, что Он пренебрегает плотью, и Творец жизни, обнимая Своей любовью душу и плоть, мстит за Себя, чтобы человек понял, что закон духа есть и закон плоти.

Когда Христос говорит, что Он — хлеб и жизнь, Он в буквальном смысле хлеб и жизнь для твоего тела.

Вожделение подражает смерти: лжеагония, фальшивый последний взвизг, вытянутые, неподвижные и как бы убитые удовольствиям тела. Потом эта подделка нас разочаровывает. Вожделение превращается в поиск определенных границ в Ничто. Это — наркотик, ибо, не умирая, мы хотим подойти к ним, как можно ближе.

Тело человека — храм Духа, и оно воскреснет в последний день. Оно — собор плоти, где покоится Плоть Господня, и если в нас таинство умаляется, его отпечаток остается в плотном сердце — живом воске; существует физическое состояние благодати.

Не станем путать испытания обращенной к Богу души с этой жалкой тоской в "Страданиях христианина", которая возникает при отказе от выбора. Такую душу Паскаль сравнивает с младенцем, которого воры вырывают из материнских рук: "Порицать нужно не насилие матери, которая нежно его удерживает, а наглость похитителей".

Этот образ помогает нам лучше почувствовать две всемогущие силы, которые влекут душу в разные стороны и разрывают ее. Две всемогущие силы. В некоторых людях, захваченных победоносным влечением плоти, христианство еще живет, но оно не действует. По их мнению, для одних оно полезно, для других — нет; во всяком случае, это вроде инструмента, которым можно при необходимости пользоваться — застенчивым, робким и нерешительным он нужен, а идущие в одиночку не в счет. Андре Жид в письме к Рене Швобу да-

ет такое название: "Не чувствовать в этом нужды". Итак, подобное требование относится только к человеку и только к его страсти. С истиной теория не считается; она тоже требовательна, сугубо, любовно требовательна.

Если взять лишь текст письма к Швобу, то "не чувствовать в этом нужды", оказывается на деле "больше не чувствовать в этом нужды", ибо сам Жид пишет: "Несомненно, что, глубоко ощутив в себе (это противоречие) во время своей долгой юности (и позже случались отдельные рецидивы), я потом навел тут порядок...".

Навести порядок... Да, конечно, это дано человеку, у него есть право на отказ.

Вы говорите, что Бог уходит с вашей жадой по Нему. Но скажите же тогда, что потребовалось время, дабы Он умолк.

Говоря о "подавлении", современные люди подразумевают самый низменный инстинкт; всегда "подавляется" наиболее мерзкая склонность. Но предмет терпеливого подавления может стать и Бог. Ничто не оттеснит Его очень далеко: луч все-таки пробивается из-под двери и сжигает страницу, где творится Отречение, и, в труде, вопреки им самим, от него остается пятно.

Вы относите Христа к мифам. Уже несколько лет я посвящаю свои свободные минуты поэме "Слезы Адониса" о беспечном пастухе, которым играет мой ум. Как послушен он! Он надевает любую одежду, которую я ему даю. Но что ж это за "миф", который заставляет противиться, говорит "нет", убегает, возвращается, требует и страждет?

"Мы можем любить лишь созданное нами". Меткое замечание Валери: в нем поражает тон, какой-то оборот, сразу пленяющий ум читателя (хотя и не тех, кто превращает подобную фразу в радостный вопль. "*Quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te*" (Мы можем любить лишь Сотворившего нас, и нас любит один Сотворивший нас...)).

Сами же мы зато творим то, что отвергаем, — смерть. Едва, однако, мы возвращаемся к этим трупам, как они снова оживают. Это неважно, ведь они действуют по инерции, "Миф", над которым я размышляю (вы его именуете мифом), — антипод инерции. В образах, которые использованы для передачи с момента его возникновения: горчичное зерно, закваска, выражается то, чем он всегда изначально был: действенным началом, от которого поднимается человеческое тесто.

Миф? Что ж, древней работы. Итак, миф существует уже две

тысячи лет, и мы — первые христиане: "В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в **И** Авилеене..."

В определенный срок и в определенном месте незаметно появился человек, Который больше не ушел из мира, но мир не мог поступать с Ним, как хотел: с самого начала Он противится, упорствует и разделяет. Нет, над Ним не шутят, с Ним не играют. Все сказано уже с самого начала: все содержится в словах, который Он соблаговолил поведать миру, и в поступках, которые Он захотел, чтобы мир запомнил.

За исключением т.н. эпох веры, человеческий разум стремился не к обогащению этого повествования и благовестия, а к их умалению и сокращению. Это — не легенда, которую расцвечивают и украшают из поколения в поколение поэты. Это — краткое слово, небольшой рассказ, который сразу противостоял приукрашиванию и отвергал апокрифические чудеса. Он остается драгоценной жемчужиной, крепко утвержденным, краеугольным камнем, вокруг которого вертится мир. Каждое слово и каждая часть слова исследованы, проанализированы и стали жертвой домыслов специалистов. Они спорят, а эти слова, эти "интерполяции", попрежнему на протяжении 19 веков демонстрируют одну и ту же власть, какую-то силу. Какую же силу? Они воскрешают всякую человеческую душу в отдельности, возрождают в любви осужденного на смерть, казненного человека. Этот текст живет. "Этот документ дышит", — говорил Клодель. Он вызывает "более чем любовь — плодотворные в любви добродетели" ... "Как значительны эти слова **Л** Лякордера! Некоторые стали новообращенными, и никакая земная сила не помешает воскрешать и возрождать Тому, о Ком я говорю.

Мы все обречены, чтобы о нас однажды сказали: "Это — конченый человек". Едва в христианина входит благодать, как он делается начинающим, который убежден, что никогда не кончит.

Сразу, независимо от возраста, он обнаруживает эту радость рождения. Он — новорожденный, сознающий свое появление на свет.

В грехе, даже в человеческом плане, всякий может заявить о себе, что он кончен. Однажды прикоснувшись к бездне, своей собственной бездне, ты вынужден касаться ее до предсмертного стога: желание-удовлетворение-стыд и снова желание-новое удовлетворение и то же отвращение. Ждать больше нечего, разве что исчезнет отвращение, затем придет равнодушие ко злу и, наконец, преклонение

перед ним. После чего, все сказано. Падениями былых дней отмечено все твоё будущее. Ты не идёшь вперед и дивишься лишь возрастанию беззакония. Прибавление силы ты измеряешь числом загубленных душ. Твоя жизнь кончена.

Однообразие греха: мрак без просвета, ночь без конца. Когда молодость кончается, они на миг замирают и в дрожью принимают к запаху бойни.

Радость рождения в благодати: это — радость дитяти, который вдруг понимает свою чистоту, что его любят, и он любит и что вечная жизнь будет наградой любви, дабы она исполнилась.

Сказать рождение, значит сказать возрастание. Ты ни секунды не стоишь на месте и уже с первого шага живешь в радости любви, к которой в этом мире будешь все время приближаться.

Жизнь очищения, просветления и единения — такое восхождение свершают лишь немногие, и не всем оно доступно: "По мере возрастания в вере — говорится в бенедиктинском уставе — сердце наполняется и с неизреченно сладостной любовью ты устремляешься по пути Божьих заповедей".

Ты прикоснулся к глубине иной бездны. После грязи остается только копать дальше, чтобы найти еще более глубокую грязь. Бесконечна все же не та бездна, в которую ты опускаешься, а куда карабкаешься.

Как летит время! Этот человек еще недавно не знал, как убить его. Прощеному же христианину дни кажутся краткими, и он боится прийти с пустыми руками. Нет предела чистоте и совершенствованию, а он еще и не приступал! Все, что он делал, это был бездельником и не говорил "нет".

Его грехи разрешены..., но вокруг него, да и на его руках, все еще дымится кровь Авеля.

Кто-нибудь скажет однажды тебе об этих страницах "Счастья христианина": "Все это будет скучно!" И ты вспомнил об удовольствиях, о которых св. Тереза пишет: "они исторгают горестные слезы, как будто вызваны какой-то страстью".

Конечно, к этому облегчению и эмоциональным порывам надо относиться осторожно, но не подавлять их. За презрением и т.н. "излияниям" скрыто подчас горделивое нежелание унижить любовь. Без любви никто долго не верил. Разум все еще колеблется и ему надо претерпеть, чтобы привыкнуть к Свету, но не отпускай невидимую руку и крепко держись за край ризы.

В Солеме, в глубине церкви, ты видишь при входе на хоры послушников, причем каждый из них похож на одну из заповедей

блаженства ; далее — братьев, наподобие тех, о ком св.Иоанн пишет, что на их челе начертано имя Агнца ; а там, между небом и землей, в золотом голубе — Агнца Божьего. Тебя страшит расстояние, которое отделяет тебя, ничего не сделавшего, от этих все отдавших тебе людей, но взгляни на чудо: между Агнцем Божиим и твоим убожеством нет пропасти, которую не заполнит Милосердие.

Укрыться в Огне — не трусость. Это — наша сила, соизмеримая с нашей немощью. Но сколько силы нужно для познания этой немощи! Самонадеянность здесь бесполезна. Она не скроет от меня язву, что гноится у вас внутри.

Пагубный для души грех перекраивает тело по своему страшному подобию.

~~Искать~~ Просите у людей не об утешении, а об их тайне, как приблизиться к Богу.

"Но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете..." Ныне христианин с иногда нескромной радостью повторяет своим братьям эти слова Иоанна Крестителя, сказанные фарисеям. Надо многое прощать обращенным ; надо понять их изумление, что никто рядом не подозревает о существовании обретенного ими сокровища.

"Но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете..." . Теперь эти слова столь же актуальны, как и тогда, когда крестил Иоанн, ибо по мере обращения мира к язычеству, христианство тоже возвращается к своим истокам.

В наш век, когда целомудрие — дочь Христова окончательно умерла, когда обнаженные тела поклоняются солнцу и встречаются друг с другом на пляжах, когда Вергилий больше не краснеет и открыто поет о любви, еще недавно называемой бесстыдной, вокруг стола и светильника плотнее садится малое стадо, которое сохранило веру и привыкло сообща преломлять хлеб.

Отступая, прилив Духа обнажает неестественные механизмы, где разум работает вхолостую.

Малое стадо устоявших посещает радость первых учеников — томительная радость обладания тайной.

Слабеет и гаснет этот слабый отблеск, все еще мерцающий в установлениях и нравах. Ничто не заслонило, однако, источник света. О несокрушимая сила! Уйдя отовсюду, она собирается в душах, пленяет и обладает ими. Незамечаемый миром огонь все время возвращается в него. О событиях духовного порядка не шумят много. О подлинной истории не сообщается.

Тем не менее теперешний христианин тяготеет своим одиночеством. Даже в эпохи веры святые плакали, что Любовь не любят.

Брошенная на произвол судьбы дарохранительница. Невероятная богооставленность.

Надо однако, во что бы то ни стало, говорить, преодолевать свою робость и стыд. Надо вернуть людям чувство Счастья. Ужасный вопль Уайльда: "Не нужно счастья! Удовольствия!" вырвался изнутри самого несчастного человечества. Это, действительно — "тысячекратно повторенный вопль". Мы слышим, как он, рядом с нами, рвется в ночи. Однако верное название счастья — Мир, который требует тишины. Постигнув тайну своей радости, один человек впал в смущение. Был вторник светлой седмицы. В службе этого дня есть обращение отдельно к каждому верующему. И вот в этот вторник человек прочел слова, обращенные к нему одному: "*Dicant nunc qui redempti sunt a Domino*" (Да говорят сегодня те, кто искуплен Господом).

Начав жить по Христу, самый равнодушный человек все время думает, неустанно беспокоится о других людях. Я вспоминаю письмо читательницы "Страданий христианина", которую в книге возмутили слова св.Терезы, впрочем, неточно переданные: "Стремитесь понять вещи так, как будто в мире есть один Бог и ваша душа". Только через причастие святых, через соединение в мистическом теле Христовом можно уразуметь, что глубокое единство душ не гибнет от одиночества с Богом. Я хочу привести для моей читательницы несколько строк из "Духовной жизни и молитвы", прекрасной книги игуменьи аббатства св.Цецилии в Солеме:

~~ХХХХХХХХ~~ "В горячем стремлении привлечь к Себе души, полностью и до слияния, Господь использует еще одну уловку: Он всегда внушает достигшим единения с Богом и других направлять к этому же благу. Чем ближе душа к Богу, тем сильнее влечет она других, тем больше в ней дерзновения к небу. Через это предугадывается невидимый мир, который потом явится нашим изумленным взорам, и в лоне которого мы узрим тайну сверхъестественного рождения, не только в общепринятом, но и в более глубоком смысле, почему можно сказать, что от святых рождаются святые по неисповедимому рождению *ex Deo*".

Внимание надо обратить именно на это духовное человеколюбие. Христос нас исцелил прежде всего от равнодушия. Забота о спасении чужих душ может иногда стать помехой в развитии верующего, который, приобщившись, стремится не пребывать в благоговейном молчании, а поведать Богу о тех, кого он любит.

Заново родившемуся в благодати человеку трудно не поделиться с кем-нибудь своей радостью. Необходимо время, пока он не заметит, что многое можно сделать для других лишь неведомым ему образом! Божий выбор совершенно свободен: "*Non vos me elegistis sed ego elegi vos*". Выходит, надо заставить Его? Может быть... От святых нам, однако, известно, что значит принуждать Бога, и чего это стоит: даже самый незначительный провинциальный священник подлагает свою душу за грешников. Преисполнимся чувством нашего полного убожества.

Человек встает, идет к мессе, причащается. И все его последующие часы проникнуты Богом. Работает, думает, говорит ли он с другом, благодать таинства настолько наполняет этот день, что даже если он когда-то был склонен к тоске, страху перед одиночеством, теперь он навсегда от них исцелился. Чудесным образом исполнилось это невероятное требование: быть одному и одновременно не одному.

Кто из нас станет отрицать эту муку: страх перед миром и одновременно невозможность одному остаться в комнате? Надо во что бы то ни стало выйти, убежать из этих четырех стен, от этого стола, бумаги, чернил, от резной фигурки, что отражается перед вами в стекле. И вдруг мы с людьми, мы делаемся одним из них, насмешливее, печальнее и тверже, чем те, кого мы смеем. Потом мы вспоминаем об оставленной камере, четырех стенах, книгах и тишине. Чтобы стать там счастливым, хватит, думаем мы, одной души, чтобы рядом с нами была любимая душа: но что такое краткие промежутки времени, которые она может посвятить нам и которые канут в нескончаемой длительности — разве не бесконечно отсутствие для любящего сердца? Она входит, а мы уже знаем, что она уйдет; она присаживается на секунду с уже поднятыми крыльями; она думает о том, что будет делать вечером, через час, с незнакомцами. Ее жизнь пересекается с нашей в незаметной точке, которая — лишь перерыв в страдании, а не счастье.

В жизни человека есть как бы счастливые отпуска, краткие побывки, и всякий помнит о нескольких часах тихой радости, дне, маленьком путешествии, островке, где можно передохнуть, о миге и усталой любви — так перелетные птицы садятся в океане на ко-
когда силы на исходе.
рабль. Но если влюбленные захотят устроить всю свою жизнь, опираясь на это несказанное единение, то оно само расстроит их счастье: оно — семейная мука, которую в наш век с такой любовью изучают романисты.

Из всей нашей литературы убедительно вытекает, что человеческая любовь дряхлеет, разлагается и умирает, едва влюбленные пытаются уйти от мук расставания.

Что выбрать: муки отсутствия, или вечное присутствие, которое не вынесет ни одна любовь?

Все тот же человек — никогда не было в комнате такой тишины. Он никого не ждет, сегодня никто не переступит порога. Какое счастье! Он что, полюбил одиночество? Да, но наполненное, живое одиночество. Как пустыню на заре затопляет свет, так утром гостия поднимается, сияет и мягко пленяет этого человека.

Он один, но уже не одинок. "В душе свершается и проявляется действие благодати, — говорит один святой монах, — отчего человек чувствует в себе прилив доверия и мира, как у верных и добрых друзей Божьих; и Святой Дух, Который, как учит вера, обитает в нас, благодатно действует, как бы являя свое присутствие. Это происходит столь незаметно и возвышенно, что верующее сердце не только в целом проникается истинами веры, но и таким сыновним и нежным чувством, что душа, не боясь самообмана, знает и ведает с большой уверенностью о своем пребывании в Боге... Эта уверенность приносит необычайный мир и доверие, которое наполняет человека полным покоем".

Ощувив полноту этого покоя, можно не сомневаться, что продвинулся уже очень далеко. Заново родившиеся в благодати заранее предчувствуют такой покой, и это дает им блаженство. Невыразимое и хрупкое счастье, ~~ши~~ огонек, прикрытый двумя руками и трепещущий от малейшего дуновения. Тогда-то душу охватывает страх перед миром, потому что при каждом падении она ставит на карту свое сокровище, и рискует драгоценной жемчужиной. Напрасно человек хранит уста и уши; грешные души вокруг него даже в молчании распространяют запах смерти и отравляют ядом. Даже их приближение опасно для человека, который не всегда был чист, и особенно, если он совсем недавно очистился. Нам кажется, что рана, которая как-будто затянулась, уже ни за что не откроется. Испорченность может вызвать это. "Молчаливая и всегда пребывающая в опасности любовь", о которой говорит Виньи, не могла бы быть Божьей любовью в душе, заново родившейся в благодати.

Да, ничто здешнее не может испортить кусочек неба, похищенного и вкушаемого в дольном мраке. "Водрствуйте и молитесь!" Достаточно газеты, обращения, письма. ~~Дост~~ Достаточно, прежде всего, нас самих, всего волнующего нас, наших вечных поступков. Мы же не одни.

О таинственное домостроительство благодати, законы которого

нельзя изучить, непредвидимые совпадения, тайные утешения, молниеносная щедрость!

Всего час в умилении, и на месте вырванной страсти прорастают уже новые побеги. У каждого из побегов — неудержимая сила роста, зла и мрака. Чистая и ненавидящая ложь душа побеждает их с помощью благодати. Они, однако, очень опасны для человека, который склонен к самообольщению лжедоговодами и ставит события во власть своих тайных настроений. Как необходим ясный внутренний взор воскресшему, который только что сбросил пелены и поднял затекшие руки!

Пусть он все же не верит чрезмерному недоверию: калека ощущает боль в отсутствующих членах, так и у вечно осторожного создается впечатление, что его все еще жжет сокрушенный порок. Теперь, когда желания в нем больше нет, вспыхивают запоздалые искушения. Страх перед искушением столь велик, что сам порождает искушение.

Если на тебя напал этот хитрый дьявол, гони его, закрой глаза и свое безрассудство употреби для того, чтобы безрассудно кинуться в пучину Милосердия, да — безрассудно: "Ибо в каждом христианине должно как-то проявляться безумие креста, дабы наше полное и безоговорочное доверие сделалось (нашим) собственным безрассудством" /"О молитвенной жизни"/.

Конечно, дух мира проникает в нас и не скроешься за закрытой дверью от него, этого великого отвержения нашего времени: мы сами родились при полном отречении.

По мнению Пеги, благодаря нашей верности среди такого оставления, мы приобретаем некоторые заслуги. И не есть ли это один из источников счастья для христианина? Слабая верность среди всеобщей неверности помогает нам приободриться.

"Против меня тогда были все люди, наука и разум, и я ничего не отвечал.

Одна вера была во мне, и я взирал в молчании на вас, как человек, который не изменит другу".

Пусть в ночь борения и суда солдаты и слуги скажут о самом убогом из нас: "И этот был с Ним".

Правда, мы с Ним не одни, и я говорю не о себе подобных, о "мыслящей элите"! Как никогда, вокруг Него стоят, толпой стоят святые. Вы их не видите. Никто не обращает внимания на старый черный экипаж и лошаденку Младших Сестер Бедняков около рестора-

на, на девушку из Каритас, которая идет со своей корзинкой, опустив глаза. Мы пишем романы, наше ремесло — знать женщин ("О как вы хорошо знаете женщин!"). Мы знаем, что жалкие кларентинки, кармелитки, визитантки или сестры ордена Девы Марии, которые ухаживают за прокаженными, принадлежат к той же породе, что и наши красавицы-подруги. Долгое чудо — не в счет. Ежедневно маленькая гостия наделяет эти тысячи и тысячи дочерей Евы (если говорить только о них) жизнью в чистоте и в полном самоотречении; они забывают о своем хрупком теле и своем сердце и идут служить последним людским отбросам. И опять это нескончаемое чудо ничего не доказывает. Тут снова приходится вернуться к "Страданиям христианина".

Как я указывал, истинное страдание христианина заключается не в том, что нельзя спокойно предаваться вожделению. У него, по словам Леона Блуа, лишь одна мука — не быть святым. В христианстве знакомство с житиями святых пробуждает стыд и тоску, которые располагают не к отчаянию, а к любви.

Найди в церкви, у входа, место мытаря и взгляни на распятие, эту поруганную чистоту, на эту обнаженную плоть, на которую, как багряницу глумления, ты набросил "Страдания христианина".

Да не пугает тебя расстояние между вами — Он всегда с тобой. Его благодать и Его вдохновение — еще больше: Он **III** Сам входит в этот вертеп из плоти и крови и садится за еще грязный стол.

... Этот бедняк, который в дни моего детства каждый вечер приходил в дом за обедками...

Мог бы в 20 лет я остаться, как делаю сегодня, один в доме среди больных виноградников в сульфатных пятнах? Неожиданно, в разгар битвы с одиночеством я бросаю оружие. Вокруг меня рыщет и принохивается враг, я закрываю глаза... Нет, меня пока не растерзали и, может быть, я приручу чудовище. Как хорошо больше не бороться и сдаться на милость. Мое поражение обнаруживается в особого рода тишине. Действительно, этот дом — мертв, все, кроме моей, комнаты закрыты, и даже мебель комнаты, где я сдерживаю дыхание, кажется вневременной — у нее вечный вид, не улавливаемый глазом человека; она стоит так, как будто меня здесь нет. Все собранное в четырех потрескавшихся стенах настроено против присутствия человека.

Это был, возможно, один из летних вечеров, которые я когда-то так любил. В юности я не верил, что где-то, кроме этой террасы, есть такое же темное и живое небо и дыхание ночи. Где бы я ни созерцал "лунный свет", у меня в мыслях он струился по малагарской террасе... Однако ночь 2 августа — дождливая, осенняя ночь, и ветер гнет виноградники, как будто уже настало время сбора урожая. Мне непонятно, почему в ближайшей давилльне не слышно голосов и смеха; я не чувствую запаха пресса. Да, это — лишь холодная ~~ш~~ летняя ночь, и я один. Дезертировал из главных сил мировой армии. Не хваюсь этим, разве это — моя заслуга? Мне даже не пришлось сдаваться — враг уже давно был внутри меня. Я еще боролся, цеплялся за призраки чувств, звал и мне чудилось, чьи-то голоса отвечали. Жалкая иллюзия, которую поддерживало и питало ненасытное сердце. Игра давно кончилась, шары — в лузах, я проиграл. Я проиграл... Я спасен...

Не сразу я поверил в свое спасение. Необходимо много времени, чтобы понять, что одиночество не убивает. Самое страшное — не походить на созданный нами образ: от внимания он растет, зовет и образует кишачий мир. Буковая роща на фоне равнины, этого расписного занавеса — декорация, которая никогда не ждет несметных героев — этих полчищ, с которыми я, слабый Иаков, сражаюсь, что видно одному живому Богу (и юноше из Л., который мне однажды признался, что часто поднимался до поворота дороги, откуда мог видеть, как я брожу с опущенной головой).

Спустя столько лет, как живы во мне умершие! Еще подвижны. Можно подумать, что они спят или притворяются. Мне неведомо

забвение. Ничто так не напоминает об их присутствии, как камни сумеречной террасы. Рука матери на моем лбу, ее пальцы на моей шее: "Ты разгорячен, посиди минутку, прежде чем идти к столу. Тебе нельзя пить". Последние четыре года она ежеминутно ждала смерти; иногда она забывалась, интересовалась виноградниками, но внезапно сердце останавливалось, напоминая ей о том, что она отпустила руку Божью. И она снова брала четки. Нас сердило, что она вела себя необычно. Лучшие сыновья считают, что умирающей матери надоело жить: "Я не скажу всего, что думаю, не скажу, почему страдаю..." Мы переворошили дом, к которому она привыкла, разрушили обстановку ее бедной жизни. Весь пейзаж окружает тяжелую тень, которая опирается на палку и не входит в буковую рощу, где чуть заметный склон вызывал у нее одышку. Когда дует северо-восточный ветер, звуки с равнины не доносятся до меня. Вдоль виадука, по темным рельсам скользит поезд с колесами из дыма. "Даже после града ты покроешь расходы, если у тебя будет хоть 20 бочек. Цена на вино падает, но ты никогда не продавай бочку меньше, чем за три тысячи франков. Даже по этой цене ~~еще~~ у тебя должна быть прибыль, когда даст урожай молодой виноградник..." Мы считали ее практичной, хозяйственной и корыстолюбивой. Думали, что в ней нет никакой отрешенности и никакого смирения. Она никогда не говорила мне, что мои книги ее огорчают. Просто, после выхода "Бордо" она сказала: "Я не знала, что ~~ты~~ ты был таким грустным мальчиком..." Какое испытание для матери произвести на свет гробокопателя, который препарирует истории, воскрешает неизвестных ему мертвецов; из многих трупов оживляет один; дедушку изображает с причудами двоюродной бабушки; роется в закрытых тайнах; который восстанавливает бывшие постройки, населяет чудовищами честный старый дом между буковой рощей и лугом. Ни слова жалобы или упрека. Забота лишь о том, что касается вечной жизни. В каждой матери-христианке оживает св.Моника. Всегда в конечном итоге, — мать и ~~сын~~ сын у окна или на краю террасы и над пасмурным Малагаром — небо, сиявшее над Остией. Она не могла умереть, пока я не был в руке Божьей. Она пришла с мессы, и снова, в столовой, радость услужить нам, ее бедная скрюченная рука, наклоняющая кофейник.

Святые шли в пустыню, но смогли бы они остаться наедине с этой обширной и живой равниной, с этой чувственной землей, рядом с огромным телом, которое не может грешить? В былую пору равнина говорила мне лишь о ленивой реке и о беспомощном, гнущемся и выпрямляющемся дереве с растрепанной густой листвой, подвластной

любому порыву. Будет ли это снова меня волновать? Как с этой истомой? Нет, теперь я вижу то, что не замечало тогда мое внутреннее око: невидимая река испещрена колокольнями, равнина — одна громадная борозда, где не умирает зерно и не зреет даже пшеница, а растет сокрытый, зарытый живой Хлеб. Он тут и этого достаточно, чтобы освятить отяжелевшую и уже до сбора винограда хмельную Кибелу. Ветер гнет ветви перед деревьями, окружающими дарохранильницу. Гостию по прямой не дальше от меня, чем в соборе. Кибела очищена Невидимым мне; она заключена в Нем; прячет Его под камнями, в листьях; Он — в ней и на чаше — блики от виноградников и лесов.

Шум дождя, которого прошлым засушливым летом так ждал, сегодня вечером я слушаю с тоской, ибо, как сказала бы мама, сейчас "идет болезнь", и урожай пропадает, не взглянув на лицо своего жаркого бога. Люди, которых я выдумываю, и многие из которых провели под этими буками свое воображаемую жизнь, наверняка принесут мне деньги, что не дает земля, так как она родила из — сынов и дочерей, произведенных мною на свет; пусть дети кормят брошенную солнцем и зябнущую старуху-мать.

Весь день ветер бушевал с такой силой, как будто он на самом деле был живым: энергично гнал огромные облака, рвал и раскидывал их куски в разные стороны неба. Но я не боялся за свои молодые тополя, у которых были высокие, до середины, подпорки.

Сегодня утром, впервые с той поры, как я остался один, засверкал чистый и знойный день, наподобие тех, которые в этом запертом доме доводили в юности до безумия мою тоску. Этот день прошел для меня благополучно. На бесконечной равнине дремали бледные виноградники в сульфате, как бы под охраной темных и редких деревьев. В состоянии невыразимой уверенности я мог глядеть на все это и мне не хотелось плакать. Ничто не может произойти, что мне не по силам.

Вчерашний хороший день был обманом. После обеда, в сумрачный час, на меня навалилось одиночество. Я стоял посредине центральной комнаты дома, посредине имения, посредине своей жизни. Я видел, что избрал и что оставил. Оставляемое, однако, не оставляет нас. Этот голодный попрошайка будет идти по пятам до самой смерти. Голод и жажда делают его омерзительным и несколько не обессиливают. При этом попрошайке освященная душа должна бояться сытости, утоления и даже глубокого мира, который идет от Бога. Ибо

нам кажется, что любим мир в то время, когда, обессиленные, еще кровоточим от страсти. Но едва благодать исцелила нас, как гордыня заставляет использовать обретенную силу, чтобы бежать от Бога, Который даровал ее нам.

Кто знаком с одиночеством рядом с любимыми людьми, хорошо переносит его в бесчувственном мире. Кажется, как легко жить одному в гуще растений, лежа на земле, от которой мы ничего не ждем и ни на что не надеемся! В юности тоску во мне вызывали не эти буковые рощи и спящие холмы, а люди, которые в них виделись, и то, что они упорно представлялись мне фоном для счастливой любви. Теперь ж эти деревья — просто деревья и больше не порождают призраков. Холмы тоже уже не отражаются в чьих-то глазах. Я гляжу на них с порога дома, как глядели мой прадед, дед, и мать, как на место ожидания, последнюю остановку, самую высокую площадку, откуда в неведомый и, может быть, близкий день придется взойти на небо или низвергнуться.

Остаться одному в загородном доме поздно вечером, перестать писать и в этой бесшумности, в этой полной человеческой бездеятельности, ощутить себя как бы странником к самому краю земли, к последнему пределу видимого мира. И тогда вечерняя молитва поднимается в нас как дым, хотя мы не шевелим губами.

Развлечения уводят нас не только от добра, но и от зла. Тысячи событий парижской жизни отвлекали внимание зверя, которого мы все время в себе убиваем. Так поступают в цирке служители, которые размахивают красной тряпкой перед быком. Но в одиночестве человек и его ручной зверь остаются наедине, и не час, а дни и ночи. Тогда-то верующий, который полагал, что прошел уже большой путь, с ужасом замечает, что стоит на прежнем месте. Бесконечная благодать подхватила его как беспомощную жертву и вырвала из когтей и пасти зверя. Благодаря этому всемогущему другу он не поддается гипнозу угрюмых, устремленных на него глаз голодного, но терпеливого зверя, который караулит, притаившись неподалеку. Вокруг человека спят поля, распахнутые и открытые южному ветру, грозовому дождю, солнцу и тени; они не помышляют о сопротивлении. Живое тело начинает подражать их беспечности, пока не ощущает на своем лице дыхания: зверь подполз, он совсем рядом, и есть время лишь пробормотать спасительные слова: *"Domine, ad adjuvandum me festina"*.

Сегодня восточный ветер растрепал дым над крышами и отсжигаемой травы. После чтения газетных вырезок и вежливых раз-

носов я взглянул на свой старый дом, прикоснулся к нему — розы еще рдели на стене винного сарая. Я почувствовал неприязнь к людям, которые не переступят этот порог, с которыми я никогда не буду знаком и не буду общаться! Это постыдное удовольствие вообразить ~~хихикающие~~ встречи, которые могли бы случиться, но не состоялись, происходит в одиноком писателе от его пронизательности. Но после, несмотря на подобное жестокосердие, к обиде присоединяется утешение: снова письмо от неизвестного, священника, студента; снова мне для подкрепления послана душа.

Если твоя книга — рана, то над ней всегда будет стоять неподвижный рой мух.

Клодель напомнил мне об изречении Рембо "Настоящей жизни нет", чтобы романисты не изображали настоящую жизнь. Это верно: мы изображаем жизнь, которая не является Жизнью.

Похваляющиеся верой в первородный грех и в повреждение природы не любят произведения, где об этом говорится.

Романист жив ясностью взора, он развивает ее чудовищным образом, пока не замечает, что вскормил прожорливого врага. Другие люди старятся довольно легко, потому что с каждым днем все сильнее слепнут и глохнут. Нам же придется умереть с открытыми глазами, как спят некоторые животные.

Какое сердце выдержит напор моего внимания? Нет никого, кого писатель, даже любя все сильнее и сильнее, не ценит все меньше и меньше.

Главная опасность — утратить веру в человека столь же безвозвратно, как иные утрачивают веру в Бога.

Созданные писателем существа не лучше выдерживают напор разрушительного внимания. Если неправильно утверждать, что хорошая литература возможна лишь при дурных чувствах, то правда, что на определенной ступени анализ не оставляет ^в наших персонажах ни одного доброго чувства в чистом виде.

"Надо очистить источник", — говорил я себе, стараясь наконец-то примирить писателя и христианина в своей жизни. Я забыл, что первоначальная грязь даже после очистки все еще остается в глубине источника, и в нее уходят тайные корни моего творчества. Даже в благодатном состоянии в моих героях больше смятения, чем во мне самом. Они появляются ^{из} ~~длин~~ того, что сохраняется вопреки моей воле.

С...., у которого я завтракаю, говорит: "Мы откровенны с католиком, говорим ему все, а он считает нужным подавать вещи под определенным углом, комбинирует, лакирует..."

Противнику мы всегда кажемся такими. Я уверен, что гуманист прячет от меня опровержения, которые ему ежеминутно преподносит жизнь.

Христианин плывет против течения, он движется вверх по огненной реке вождения плоти и гордыни. Гуманист же изо всех сил старается не слишком быстро спускаться, остановить сползание. Он пытается доказать себе, что по-прежнему властен над своей оставленностью. Христианин же верит, что за штурвалом он не один. Проявляемая им стойкость проникнута идущей извне силой. И даже если он чувствует себя одиноким и кто-то заснул на корме, достаточно крикнуть раз, чтобы разбудить его.

Когда грипп истрепал и утомил меня, я взял "Путешествие в Конго" Жида, которое поначалу показалось мне скучным, как всякий рассказ о путешествии, отчего я читал его отрывками. И вдруг меня захватила не Африка, а Жид, другой, чем писали о нем журналисты, столь же человечный и земной, как Руссо и Гете одновременно; его восхищение камнями, растениями, насекомыми, чему ~~я удивляюсь~~ я удивляюсь сильнее и больше не чувствую себя в стороне. В путешествии этот Жид никогда не реагировал недостойно (порой черезчур видно, что причиной был его ум). Великим книгам он отводит роль убежища, куда спасается при настоящих испытаниях в экспедиции. Никакого занудства, чтение — часть его жизни. У него не "внешняя" культура, которую, как крупный багаж, надо нести на вытянутых руках для всеобщего удивления. Насколько характер сформировал судьбу Жида: это постоянное счастье, видимое счастье. Благодать около него сжигает друзей, и он в окружении огня. Ни "Робер", ни "Эдип" меня не трогают (правда, огорчают). Главное, не спутайте Учителя с бедняками, идущими поодаль за ним. Не надейтесь, что их переменчивость будет для вас вечным извинением.

"Крик души" З...., который вернулся из Москвы: "Там замечательно, семьи больше нет".

Зачем объединять эти страницы ("Страдания и счастье христианина", написанные почти три года назад? Ты, Боже, видишь, что причина тому — не прославиться, а иная, в которой я признавался тебе: очень небольшая необходимость, очень жалкая уместность. Ты убедился в моем безмолвии, но безмолвие — утраченная

роскошь. Во мне больше нет ничего, что идет от меня, даже эти вопли к Тебе и к некоторым сердцам. Отныне, плач от стыда или радости, все—"ради удовольствия". Да будет мне дано хорошенько ощутить эту низость. По крайней мере, литератор может чувствовать себя наигрязнейшей частью собранного Тобою мусора.

Мы гордимся тем, что распоряжаемся своей жалкой жизнью: маленькие жертвы, крошечные победы над настроениями — все выставлено для прохожих на нашей забавной ~~ниш~~ витрине. Дай мне бояться всякой снисходительности. Наше подражание Тебе — лишь печальное кривляние, пока оно не достигает древа, на котором Ты истекал кровью, пока оно не заставляет нас служить Твоим нищим. Я царапаю себя, рву волосы в порыве угрызений, сила которых мне приятна, но в сердце моем полно невидимых мне кумиров.

Как делает ребенок с подаренной отцом монетой, так и я в тот же день трачу полученное от Тебя и снова гляжу на Твои руки. Ты промедлил всего миг и чуть ~~отвер~~нул голову, и я вдыхаю на ветру запах тины, в которой Ты искал меня. Мои блуждающие мысли возвращаются на место прежних преступлений; надо бороться, чтобы они не наелись там желаний, сожалений и тоски, бороться до тех пор, пока Ты не вернешь мне Свою благодать; и я снова растрочу ее, так ~~ни~~ и не поняв никогда цели Твоего милосердия. О терпение и непреложность любви!

Почему я отверг то, что можно иметь невозбранно? Я имею как неимуций, но все же имею. Небольшое самоотречение, которого Ты добился от этого сердца, Ты, в страхе, что оно вскрикнет, получил, если и не совсем вопреки его желанию, то по крайней мере без его ведома. Твое дыхание незаметно отнесло его далеко от берега; оно пробуждается, видит свое одиночество и пугается. Где ж остальные?

Ты возбраняешь стремление нравиться им. Игра в любовь, столь занимавшая нас в юности, с годами превращается в борьбу, где победа гарантирована. Однако, что говорить о победе и поражении: вопреки нам, Твоя любовь выводит нас из этой игры. Кто будет рыскать около избранных Тобою? Они помечены; мир больше не оспаривает их у Тебя; он оставляет их или они его?

Ты знаешь точно границу вражеского царства и то, что смерть ~~те~~ грозит нам даже, когда мы еще совсем невинны. Сопротивление противнику не зависит больше от нас, но нам позволено расположиться на месте неизбежного поражения. Мы легко добираемся до пункта, где нас ~~нас~~ наверняка разобьют. Боже, не отрывай меня

от этой невинности, уже обремененной грядущим грехом, что нас иногда убивает, хотя мы не шевельнулись, не сделали ни одного жеста; но не оставили помысел и вошедшее желание. Снаружи ничего не заметно: мы сидим, курим, листаем книгу, а наша душа несмотря ни на что, падает мертвая и испепеленная.

Для Н...: надо научиться не обращать внимания на любой помысел, любой вздор, не пытаюсь найти в них зародыш желания и потенциальную мерзость. В порыве такого рвения человек может все беззакония мира заключить в одно, даже подавленное чувство. Божью благодать не так легко утратить. Божья любовь не уходит от образа, который всего на миг омрачает ум. Но бывает, что годы необузданного наслаждения всеми плотскими утехами ~~мехта~~ мстят за себя болезненной реакцией и вечно заторможенным воображением. Мне следовало бы подчеркнуть это сильнее, чем я сделал в "Паскале". Крик Паскаля: "Да мне никогда не уйти от этого!", его чрезмерная подозрительность, ужас перед малейшей лаской и самыми невинными словами, вроде "эта женщина мила", все свидетельствует о долгой порочной жизни.

Пройдя по всем стезям порока, обращенный начал скоро узнавать их в самом начале, когда еще ничто не выдает их страшного конца.

Чтобы понять подобную подозрительность, надо вспомнить, что иногда даже легкое смущение вызывает огромное отступление, как отскочивший из-под ноги камешек может привести нас к опасному падению.

"Тяжкая задача — восторжествовать над ошибкой и злом, она истощает многих людей..." (Э. Жильсон). Подобное истощение и изнурение могут породить сильное искушение; бросить все, не стремиться больше за столь большую цену к недостижаемому и сверхчеловеческому совершенству, забыться в себе и своей жалкой плоти и предаться менее чистой, общественной, политической или иной борьбе. Мы, однако, знаем, что если сердце ~~вспыхивает~~ сперва не очищено, все будет худым в наших действиях. Грязь в сердце — вот причина низостей профессионалов от демократии. Они не продаются только потому, что не все их страсти удовлетворены. (Скептик сказал бы, потому-то они и безобидны).

Сколько у нас в крови язычества! Достаточно после трех туманных дней открыть ставни навстречу солнцу, как нам хочется улыбнуться и невольно протянуть к нему руки. За десять минут до смерти моя мать смотрела на жужжащий июньский день; она показала на дерево в листве, с множеством птиц и сказала: "Вот

чего мне жаль ...". Нас она надеялась вновь встретить однажды. Но она не верила, что есть другой свет, после которого ясный день ее смерти покажется сумраком; это — свет, который созерцали очи старого Товия.

Больше всего мне неприятен упрек: клевета и очернение плотской любви. Я обращаюсь к себе, пытаюсь, кроме своего опыта, вспомнить обо всем, что видел, все, что подметил. Любящий всегда эксплуатирует своего раба и ищет в вызываемом им обожании более сильное жизнеощущение; иногда он утомляется, сердится, следит, докуда доходит его власть, или оживляет уже гаснущую страсть, возвращается, когда другой уже начал привыкать к его отсутствию; снова уходит, убедившись, что жертва нуждается в его присутствии, чтобы не умереть от горя... Однако жертва еще страшнее палача: этот человек нужен ей как воздух и хлеб, она дышит им, поглощает его; это ее вещь, ее корм; она его осаждаёт, держит, использует для его покорения многие средства, из которых деньги — не худшее. Это тем более противно, что она притворяется бескорыстной и равнодушной, всегда, правда, только для того, чтобы закрепить свои права, сделаться необходимой и теснее связать свою судьбу с судьбой любимого.

Но разве нет счастливых встреч, когда оба равно любят друг друга? Напомню: борьба двух равносильных самолюбий долгое время безрезультатна, как у двух сцепившихся борцов, которые не могут двинуться. Для уверенности в себе каждый пытается сделать больно другому, каждый ждет крови другого, чтобы удостовериться в собственной победе.

В своей любви любящие делают то же самое и закрывают глаза, чтобы не видеть этого. Когда умирающий у Шекспира Антоний признает, что поцелуй — единственный благородный поступок, он уже знает об обмане Клеопатры, поклявшейся покончить с собой, но все еще живой.

В конце концов она все же кончает с собой и доказывает его правоту.

Бедная молодость! В иные часы бремя ближнего кажется просто невыносимым! Эти признания, утешительные слова, добрые советы, призывы к мужеству, которое надо обрести любой ценой — все это верно, но именно в данную минуту не трогает сердце... Надо постараться молчать, показать им, что преклоняешь колени.

Вместо жалости и страха, их история возбуждает интерес, любопытство и веселость.

Человек тонет и зовет на помощь. Ты пытаешься помочь ему, а в нем таится тайное желание лишить тебя жизни, задушить и увлечь к себе в пучину.

Порой счастье беспричинно в нас, это — вьюнок, который не знает, за что уцепиться, и цепляется где попало. На мир Христов это совсем не похоже. Счастье даже противник мира, ибо подпорка для него могла бы быть и похуже. Благодать не дремлет и создает вакуум вокруг плюща, который гибнет, потому что ни к кому не может прилепиться.

Не буду притворяться, что верю в Тебя как источник такого счастья. Я узнаю его торжествующий облик. Оно не покидает меня в минуты моей жизни, когда я распинаю Тебя. Я видел, как оно смеется у самого подножья Креста.

Право любить Тебя в радости беспорочной плоти имеют дети и все, не утратившие дара детства. У других же этот источник физической радости навсегда замутнешь.

Самая большая жертва — это не быть никогда покинутым, предоставленным случаю, свободным. Христианин всегда — царь, которого окружает страх.

Никогда не быть покинутым и одновременно не утратить этой непосредственности, влекущей сердца. Быть под охраной и в то же время свободным. Не прибегать к бессознательной хитрости, которая заставляет нас скрывать; мы говорим о поучительной маскировке: некоторые христиане добиваются удивительной гармонии человеколюбия и свободы. Их так наполняет человеколюбие, что им не приходится бояться преизбыточности сердца.

В твоей жизни самое редкое — минуты, когда ты хочешь быть в ином месте; теплая земля нежит тело, свежий ветер слягчает ожог от солнца. Ничего больше мне не нужно, но оттого, что в душе нет радости и блаженство вызвано ее отсутствием. Этот покой отделяет меня от всякой человеческой или небесной любви. Я, пожалуй, очень похож на того пса, что лежит на солнце с вытянутыми лапами, мордой на землю. Не пропадет ли вечность, если умрешь в такую минуту?

Позабыв об осторожности, Н. написал мемуары. Он ставит себя между Вольтером и Наполеоном. В вечности он сам выбрал себе место и полагает, что там, среди гениев, он и останется. Он принимает позу, застывает и считает нас дураками. Он ничему не научился, увидев, как настоящие учителя увлекают нас в бездны, как вслед за собой заставляют опускаться к тайнам жизни.

Ищущие, кто они, и пекущиеся, кем бы показаться: первые это — учителя, а вторые — более или менее забавные и одаренные комедианты.

Люди, которым причиняет страдания живая, вскользь увиденная красота... Что-то в этом безрассудстве может породить веру в вечную, неизменную и непоколебимую красоту. Потому-то я не полагаюсь на себя, чтобы верить в Тебя, не полагаюсь на свою жажду Тебя. Я не поверил бы, что обрел Тебя, потому что ищу Тебя. Я не играю высокими словами. Я верю в Тебя, потому что в какой-то исторический момент, Ты пришел, Бог и равно человек среди людей; тело, которое могли раздеть, бичевать, оплевать; грудь, которая выдержала тяжесть головы; и щека, которой коснулись уста Иуды. От жажды никогда не возникал источник. От жажды не начинал бить родник среди песка. Если бы Ты не пришел, я искал, но не нашел бы Тебя. Если бы придя, Ты ушел из мира, я никогда не почувствовал бы ни этого покоя, ни этой тишины, по которым остальные дни отличаются от тех, когда Ты посещаешь меня. Я делал бы любезное мне зло, если бы Ты не воцарился во мне.

"*Infixus sum in limo profundis et non est substantia*". (Я пал в глубокую грязь и нет в ней опоры). К этой-то зыбкости и ведет свобода падшей твари. Чтобы вы не утверждали, вы не можете не погружаться. Вас вынуждает на это сама природа места, где вы стоите. В разврате нет ничего прочного. Погружение прекращается от истощения, пресыщения, обстоятельств, а не ~~шум~~ по вашей воле. В грязи нет свободы.

~~Никаких~~ Печальный Страстной четверг в горах: сумраком покрыта земля, и небо как будто подернуто грязью. Потoki — лишь белесая пена, жалкие слюни. Сегодня утром в деревенской церкви топталось настоящее стадо. Мальчишки стояли отдельно на хорах, как ягната за забором; они дрались, толкались и никто не делал им замечаний. Кюре как-то чудно выкрикивал Послание и Евангелие. Однако глумление над литургией, это безобразие и убожество особенно оттенили мягкосердечность этих людей, когда святое причастие было возложено на гроб. Вопреки тому, что должно было рассмешить, реальное присутствие Христа предстало с неведомой силой. Уже не слышен голос бенедиктинок, от которого усиливается шум на хорах, есть только Ты и любовь к переминающимся овцам и невинность ребятишек, которые смеются и толкаются перед Твоим ликом.

Христос не только победил смерть, Он победил также одиночество человека. Напрасно вы обвиняете Крест в помрачении жизни,

в Страстную пятницу Церковь отвечает вас с радостью и слезами:
"Esse enim propter lignum venit gaudium in universo mundo..."

Вечером, в Страстную пятницу, мохнатые облака в горах расходятся и проглядывает голубое небо. Кальвария растрогала нас, и мы поднялись до чудесных елей. Около безмолвных хижин животные почуяли тайну Святой ночи. Как из иного мира, из соседнего леса доносилось пение птиц, приглушенное расстоянием. Лоскутья снега на земле были разодранной плащаницей Господа. Кибела чувствовала, как ее тело прорастает корнями ~~в~~ неведомого, окровавленного Древа.